

# СЛОВО КОТОРОГО



Аль Квотион

12+

Аль Квотион  
**Слово, которого нет**

«ЛитРес: Самиздат»

2015

## **Квотион А.**

Слово, которого нет / А. Квотион — «ЛитРес: Самиздат», 2015

ISBN 978-5-532-94720-7

Слово, которого нет — это произведение о среднестатистической семье, сталкивающейся с проблемами непонимания, невнимания друг к другу и прочими конфликтами, приводящими к утрате душевной гармонии. В отличие от многих современных книг, на помощь героям не приходит чудо, им приходится самим переосознавать себя и жизненные ценности на пути к человеческому счастью. Повесть не уводит читателя от реальности, а толкает к узнаванию себя и дает понять, что решение самых обыденных, казалось бы, непроходящих бед в его собственных руках.

ISBN 978-5-532-94720-7

© Квотион А., 2015  
© ЛитРес: Самиздат, 2015

# Содержание

Предисловие	5
Слово, которого нет	6
Часть 1	6
Часть 2	14
Часть 3	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Аль Квотион

## Слово, которого нет

### Предисловие

Каждая книга, на мой взгляд, должна иметь смысл. Какие-либо цель, посыл, наказ или мораль, превышающие бестолковое и пустое желание высказаться о себе, выговориться, превращая литературу в словоблудие. Мало просто сказать, важно знать, что ты говоришь, кому и зачем. Отвечая на эти вопросы, автор создает книгу.

Цели могут быть разными. Это могут быть наболевшие, звенящие в голове мысли, которые важно произнести, которые могут стать опорой в понимании мира, новым взглядом на него, вскрывающим то, что раньше было в тени. Это могут быть послы к нашей человечности, формирующие моральный фундамент совести и добра. Или создание сказки как удовлетворение моральной потребности людей, уставших от повседневности, загнанных бытовухой в бесцветную, скучную жизнь. Дар офисному клерку – чувства бесшабашного геройства с мечом в руке, пульсирующей в висках крови и воинственного хохота в жерло судьбы.

Первая моя книга, большей частью, была именно такой. Сказкой. Историей о любви для ностальгирующих о ней. Подростковое желание влюбить в себя мир, разбавленное отдельными размышлениями и множеством романтических оговорок. «Запчасть Импровизации» стала сборником чувств и метаний, в которые хочется попасть. Она была ранней, в чем-то наивной, но в чем-то важной.

С тех пор я изменился. И основной посыл новой книги, как и я, стал другим. «Слово, которого нет» – это уже не сказка о любви, это попытка понять мир, привычный каждому. Это желание сказать другим людям их самих. А сказать – значит понять. Это сформулированные в текст судьбы, это мы в формате слов сквозь призму одной субъективности. Не знаю, удалась ли мне эта попытка, смогу ли я объяснить кому-либо его самого, помочь понять данность, лежащую на поверхности, но ускользающую от глаз. Понять и, может, в чем-то изменить, что-то переосмыслить. В любом случае, я попытался.

# Слово, которого нет

## Часть 1

Открываю утром газету, читаю заголовки, наискосок пробегаю улы букв под ними. Как всегда, все плохо, а завтра станет еще хуже. И очередной конец света. Такое ощущение, что во всех предсказаниях конца света – надежда. Вдруг все же закончится, вроде пора уже, сколько можно? Надежда и страх. Заканчивайся уже, только скажи мне, что будет со мной, когда ты закончишься. В этот момент встают в полный рост разношерстные верования и религии, обещающая испуганному человеку: «ты будешь, ты продолжишься, ты не исчезнешь!». И люди хватаются за это обещание как за спасательный круг. Только человек способен бояться перспективы. Но пока мы сходим с ума, запасая консервы в кладовке на случай конца света, агонизируя искаженностью разума в перекошенных верой лбах, растекаясь пустоглазыми песнопениями у все новых идиологов, не способных никого спасти, мир остается спокойным. Он живет, растет, цветет, молчит, дышит, непоколебимой опорой продолжая в себе всех нас. И в день, когда погаснет Солнце, Земля будет все так же по-матерински милосердно улыбаться своим детям. А мы разумны, мы боимся. Но что это за разум, который порождает страх? Тот ужас, заставляющий живьем закапываться под землю и сжигать себя на площадях в психованном ожидании того, что так и не наступает.

Читаю дальше, а там гороскоп. Телец, ну точно про меня. Хотя рыбы тоже подходят. Да и овен мне близок. А недавно наткнулся в сети на рассказ, а там про нас с женой. Слово в слово. Как будто автор этого произведения обладает уникальной возможностью подглядывать в окно. И делает это постоянно, словно бы наша жизнь – невиданное зрелище, равного которому нет больше нигде. Вчера вот тоже смотрел телевизор, ну как знали, все про меня рассказали как есть. Да и когда гуляю я по магазинам, вчитываясь в рекламу, складывается порой ощущение, что сделано все это для меня. Все учли: и то, что руки у меня постоянно мерзнут, и то, что не люблю далеко идти пешком, и даже то, что, садясь с ноутбуком, нравится мне иногда закинуть ноги куда-нибудь повыше. Или лечь, накрыв колени теплым одеялом.

То ли это злая шутка воображения, то ли Бог рисовал выкройку мира, поглядывая на меня. Второе, конечно, маловероятно, но где-то в глубине души хочется в это верить. Может, из чувства собственной уникальности, а может, просто для того, чтобы личное одиночество чувствовалось не так остро. Потому что если где-то там сидит всемогущее существо и думает обо мне, создавая миры, то жить не так страшно. И уже не так сильно гнетет нелепая бытовуха с малопонятным смыслом: нудная работа, низкая зарплата, очереди за документами, дорогостоящие права, шумные соседи, ублюдки в подъездах, взятки врачам и учителям сына, воры в правительстве, быстро стареющая жена и полная беспросветная неуверенность в своем будущем. А при наличии Бога во всем этом можно уже находить какой-то высший сакральный смысл.

Так и проживаем свою жизнь в мире, похожем на анонимную книгу о нас. А знаешь, иногда хочется узнать что-то еще: чем живут другие люди, как приходят к совсем иным выводам и почему так верят в них. Но очередной шарф из натуральной верблюжьей шерсти переводит эти мысли в другое русло, привычное до незаметности. Я давно уже такой хотел. Знали чем порадовать. Хотя где-то теплится опасение, что от такого взгляда на мир до теории вселенского заговора – рукой подать.

Только вот почему-то этот вездесущий автор иногда пишет грустные вещи. Ты счастлива, возлюбленная жена, скажи мне? Почему я замечаю в твоих глазах печаль и усталость? Знаешь, просто хочется счастья, и я иду на работу, чтобы ты могла съездить на море, ты так давно

хочешь на море. Я иду на работу, день за днем оставляя тебя в одиночестве, в путанице проблем и забот, о которых ты научилась молчать, чтобы не портить то короткое время, отведенное нам побыть вдвоем. Но иногда мне становится очень страшно, что на долгожданное море в итоге приедут два чужих и малознакомых друг другу человека. А я ведь люблю тебя. И тогда любил, когда просил тетрадку с лекциями и якобы случайно пытался коснуться руки. И тогда, когда стояла ты, счастливая, в красивом белом платье с цветами в руках, а вокруг крутились твои подружки, никак не давая мне подойти. И тогда, когда лежала ты растрепанная, потолстевшая, с тяжелыми чертами лица, измененными пережитой болью, а на твоей груди ворочался и пищал живой комочек – наш с тобой сын. И сейчас люблю тебя, повзрослевшую женщину, подходящую к старости, видя ту смешную студентку в оранжевом свитере, неземного ангела с белыми крыльями фаты за спиной и ласковую мать моего ребенка. Люблю и не хочу стать тебе чужим.

Как это странно, когда столько прожито вместе, когда столько могу сказать тебе о том, что было, что видел я, что чувствовал. Просто наклониться к уху и рассказать все. Но я теряюсь, молчу, снова ухожу на работу, и ты молчишь, уже давно ничего не ждешь, а незнакомые люди пишут и пишут о нас с тобой в газетах, книгах, журналах, рассказывают по телевизору, шепчут по радио. Все то, что должен был сказать я, словно бы читая мысли и переступая через мое неловкое молчание с каким-то равнодушным цинизмом. А я говорю им спасибо. Спасибо, что заглянули в душу, одну из тысяч точно таких же душ. Спасибо, что нашли время расковырять банальность наших судеб, ткнуть лицом в скуку и утешить слабой надеждой. Спасибо, что сказали этой бесконечно уставшей, любимой мною, но все же одинокой женщине то, что я сказать не смог. И эти постоянные «спасибо» я натягиваю смирительной рубашкой на собственную совесть, бастующую против взаимного молчания, поселившегося в нашем доме. Конечно, они все скажут за нас. Ты счастлива, жена моя?

Пока юношеские мечты об идеальной семье искалеченными личинками уползают из души, я иду по улицам города и всматриваюсь в витрины, видя в них то, к чему так стремился когда-то. Вот же она, эта идеальная семья. Скалится выбеленными до зеркальности зубами, растекается толстым слоем счастья по мокрым от дождя рекламным стендам, подмигивает красивыми лицами случайным прохожим. А у меня зубы желтые, на верхнем кариес разросся до размеров отхожей ямы и пахнет точно так же, лицо отекает, серое, грубое, здоровье хромает на обе ноги и спотыкается на жизненных поворотах. И снова проскакивает шальная мысль: вот они, продавцы счастья человеческого, торговцы моими несбывшимися мечтами. Может, еще не поздно все исправить и стать теми на картинках с непроходящим солнечным утром? Заглянули в меня, поняли, чего я хочу. Начинаю шарить рукой в кармане, уже готовый заплатить любые деньги за радость в красивой упаковке, и вспоминаю про море. Нельзя, пока нельзя. Может быть потом, может, еще успею.

Потом. Когда-нибудь потом мы будем счастливы. Потом я почию стиральную машину, жена давно уже просит. Потом я доделаю ремонт в ванной, и отражение в запотевшем зеркале после душа перестанет так сильно пахнуть плесенью. Потом я сяду со своим сыном, выслушаю всю его жизнь и обязательно пойму. Потом я научусь играть на гитаре и заново смогу очаровать свою любимую красивой романтикой, похожей на ту, что так часто показывают в женских фильмах о любви. Потом я прочту все запланированные книги и поражу своим умом и эрудицией коллег на работе. И так каждый день мы откладываем свою жизнь на потом. Мы откладываем на потом самих себя. Раз за разом. Но беда в том, что в какой-то момент гонки за будущим ты вдруг смотришь на свои руки: неумолимо стареющие, слабые, немощные, и понимаешь, что твое «потом» никогда не наступит. Что оно ни у кого никогда не наступает. Живет, живет, маячит где-то на горизонте, щедро пичкает надеждой, а потом вдруг превращается в жесткое «поздно» и проступает жилистым приговором времени на старческих руках.

На работе снова задерживаюсь – вранье это все, что рабочий день заканчивается в семь. Официально-то да, но вот подойдет начальник и скажет – делай. И я делаю, что мне остается?

Дома ждет жена, любимая моя, но я никогда не пойду и не скажу, что время уже позднее. У всех жены, дети, но все сидят, и каждому не хочется быть хуже других. Даже не потому, что не найти другой работы, а потому, что в эту уже столько сил, столько времени и нервов вложил, что выросла она в меня напрочь. Обрел какой-то иллюзорный островок надежности, уверенность, что смогу купить сыну учебники и жене бусы, вроде зарплату уже повысили, вроде повышение уже не так далеко, а начинать все заново... Поздно мне уже начинать заново, потому что учебники и бусы сейчас нужны, хлеб и молоко на кухне тоже сейчас нужны, а не тогда, когда найду я работу по душе. Сижу и медленно варю в себе раздражение.

Еще коллега у меня есть, это отдельная история. Он идиот. Но не просто идиот, а идиот, начисто лишенный совести. Зато наделенный большой наглостью. Бывает, вот так просидишь допоздна неделю, все сделаешь, седину в волосах посеешь, а он пойдет к начальнику и скажет, что это его заслуга. Или не скажет, но промолчит так, чтобы начальник точно понял, кто тут молодец. И ничего уже не скажешь, он по званию выше, что с таким подходом не удивительно, и послушают его, а не меня. А про меня в личном деле напишут: "неуравновешен, склонен к конфликтам, завистлив". Молчу, сжимаю зубы, и кажется мне, что осыпаются они горьким песком в горло. Сухим, скрипучим, больно колющим в животе и подкатывающим тошнотой.

Потом иду домой, ветер бьет в ребра, а во мне ширится чувство какой-то парусности. Словно именно сейчас, стоит лишь слегка подпрыгнуть – и полечу я в небо. Туда, где облака мнутся, сжевываются, пожирают друг друга и рождают новые. Так и полечу – нелепым воздушным шаром в грязных ботинках с портфелем в руке. Буду смотреть сверху на свой офис, махну рукой коллеге-идиоту, увижу Африку, настоящих слонов, а потом упаду в океан и растворюсь большим куском соли. И чувство это такое сильное, почти как уверенность. Вот только не прыгну я. Потому что не полечу. А прыгающий на улице мужчина моих лет смотрится глупо. Так и иду дальше, а неосуществленный этот прыжок скручивает мерно зудящее раздражение в тугую пружину, натягивает курок будущего.

Прихожу домой и вижу жену. Первое желание – подойти, обнять, рассказать, как скучал я по ней весь этот долгий день, как хотел прийти раньше, но не смог. О том, как ветер превращает человека в парусник, и я хотел бы лететь в Африку вместе с ней. Но я молчу. И она молчит. В ее молчании я угадываю обиду – с сыном опять времени не провел, ее одну бросил. Опять, опять, опять. Мне бы просто поцеловать ее, утешить, но натянутая пружина наконец-то расправляется с глухим щелчком, механизм накопленного раздражения срабатывает, крючковатый палец судьбы нажимает на курок. Во мне набухает, нарастает злость, упирается лбом в нежелание понимать, просачивается едким шипением, строит стены холодных рассуждений: я же для них все это делаю, загоняюсь, как вол на скотобойне, а они мне обидой отвечают. Они, они во всем виноваты. Резко, грубо разворачиваюсь, ухожу, запираюсь в своем кабинете и остаюсь в страшном одиночестве.

Тяжело на душе. Темно, тяжело и горько. Чтобы как-то отвлечься, открываю книжку, включаю ноутбук, радио, телевизор, что угодно. А там слова. Такие красивые слова о любви. "Они шли босиком по траве, взявшись за руки". И мне так сильно, так яростно хочется вырвать из этих слов душу, мысль, смысл и воткнуть, вшить в собственную жизнь. Чтобы мы, мы шли по этой траве. Чтобы мы держались за руки и беспечно улыбались. Чтобы мы ловили кузнечиков на холме, закопав в нем весь офис вместе с коллегой. Чтобы мы сверкали розовыми пятками, купаясь в реке и не ставя будильник на 6 утра. Слово – это высшая форма сознания человека. Мы осмысливаем весь мир посредством слов, формулируя для самих себя не только мысли, но даже чувства. И если нам не хватает умения сказать себе что-то – мы перестаем понимать собственное Я. Нашу жизнь диктует неуловимый внутренний диалог, настолько рано зародившийся в нас, что мы его не замечаем. Мне грустно, мне тревожно, потому что жена смотрит в окно, а за окном первородная пустота. Как остановить время, чтобы ее взгляд перестал биться в нем голой тоской? Переживаемые внутри слова, без которых все было бы так же, но я уже

не понимал бы, что происходит. Так в жалобе к небу "я не знаю себя" звучит только подведение итога: "не могу сказать себя самому себе". Вначале было Слово, и слово стало всем. И это слово я слышу из всех щелей, безъязыкой мумией глядя перед собой, не способный сказать.

Появляется желание уйти, бросить все, сбежать и пропасть. Выхожу в коридор, одеваюсь и иду на улицу. Там вспоминаю, что даже не поужинал. Захожу в кафе, заказываю борщ и кофе. Смотрю вокруг, ищу взглядом выход из собственной жизни, наталкиваюсь расширенными от переживаний зрачками на женщину. Она молодая, с упругой грудью, симпатичной фигуркой, красивым лицом и миловидной улыбкой. Ловлю себя на том, что уже улыбаюсь ей, а она мне легко отвечает. Встаю, сажусь за ее столик, завожу беседу. Она щебечет мне какие-то глупости, хихикая и вырисовывая на салфетке цифры своего телефонного номера. Я не слушаю, я смотрю, как шевелятся ее губы, густо и ровно намазанные темно-вишневой влажно-блестящей помадой. Смотрю и вижу маленькую квартирку, где эта молодая женщина готовит мне завтрак, жаря яичницу и напевая под нос, а я валяюсь в кровати, лениво возвращаясь к прежнему ритму после отличного секса. И думаю о жене, пусть не такой молодой, не такой красивой, но я вдруг очень остро понимаю, что буду думать о ней. И не головой, всем телом начинаю чувствовать, как невыносимо сильно мне будет ее не хватать, с кем бы я ни был. В этот момент все мое раздражение сворачивается комком в горле, щиплет нос, набухает дрожащей влажной пеленой на глазах. Смаргиваю крупную громоздкую слезу, вру несостоявшейся любовнице о том, как что-то попало в глаз, о какой-то важной встрече, о том, что обязательно позвоню. Пора возвращаться домой, там меня ждут.

Как только возвращаюсь, жена, ни слова не говоря, идет греть ужин. Сажусь за стол, молчу, смотрю ей в спину. А спина ссутулилась, дышит почти не слышно и слегка пахнет табаком. Супруга курила тайком от сына. Нужно знать характер этой женщины, чтобы понять, что это значит. Курит она очень редко, когда сильно волнуется или в очередной раз приходит к выводу о дешевизне, убогости и безысходности собственной жизни. Смотрю на нее, гадаю – что же на этот раз: переживала или подвела итоги? А внутри все сжимается, пропитывается горькой виной, оседает мокротой раскаянья в легких, вгрызается в сердце бессильным желанием изменить прошлое, настоящее, будущее. Хочется сделать все лучше, правильнее, чтобы стояла она сейчас счастливая и смеялась, не ссутулила спину, не пахла этим дымом. Ведь никогда я не хотел, чтобы было так, как сейчас. Делал все, что мог, что умел, все для нее. Но случись повернуть время вспять, повторил бы все свои ошибки, потому что совершал их из любви к ней.

Она ставит передо мной ужин. Начинаю есть хотя после кафе уже не голоден, но понимаю, что простояла она у этой плиты полдня. Не потому, что ей нравится стоять, а потому, что думала обо мне, о сыне, о нас, своих мужчинах. Из тарелки с жареной картошкой раскаленным взглядом в лоб смотрит на меня совесть. Сижусь, пихаю в себя еду, давлюсь, не различая вкуса, а сам краем глаза слежу за ней. У нее футболка сбилась набок, и, как боровик после дождя, выглянуло на свет одно плечо. Казалось бы, плечо – какой пустяк, какая мелочь, мало ли чужих плеч в нашей жизни. Но я всматриваюсь в него, потому что сейчас это эпицентр моей жизни. Всматриваюсь до посинения, потому что не знаю, что можно сказать. И открываю для себя новую науку. Географию плеча. Это ведь целый огромный мир, старинная пиратская карта, где родинками помечены клады поцелуев, где у каждой царапинки, каждой шероховатости своя история рождения, взросления, становления. А яростно-алый цвет крови под тонкой кожей не дает проступить глубинно-синему цвету души.

Я смотрю на ее плечо, чувствуя, как долгая вина за ужин, за вечер, за море, за морщины, за каждый прожитый день, растущая во мне, живущая на протяжении многих лет, приносящая свои бессезонные плоды, вдруг поднимает корни из чрева рассудка. И я вижу самое сложное и самое простое чувство – любовь. Именно она в семени моей вины, именно она надевает маску совести и смотрит на меня, именно она, будто бы в отместку, червится поздним раскаяньем после всех тех глупостей, что я совершаю, в суете забывая о ней. Это мимолетное осознание

любви напоминает мне летний парк, по которому мы с женой, еще студенты, идем рядом. Я вскакиваю на бордюр и читаю стихи собственного сочинения. Писал я стихи плохие, ужасные, рифмовал любовь с кровью, сравнивая ее с водосточной трубой, разбавляя эти шедевры строчками "твои ушки – курага". Но тогда я этого не знал, она тоже этого не знала, а может быть, просто не говорила, стоя в парке, сжимая сумочку с лекциями и широко улыбаясь. Даже сейчас эти плохие стихи так и остались для меня лучшими, потому что пахли летом, счастьем и молодостью.

Так и приходит ко мне любовь: чужими строчками и застарелыми воспоминаниями. Живу в итоге, либо вспоминая, как хорошо было когда-то тогда, либо читая, как хорошо могло бы быть. А сам сижу на кухне, отсталым верблюдом жую картошку, смотрю в сутулость жены и молча, как всегда молча, тянусь в холодильник за пивом. Жена поворачивается, скользит укоризненным взглядом по груди, занавеске, стене, а я в ответ пожимаю плечами и вру, что хочется холодненького. Когда-то я читал, что есть такие люди, катающие на языке вина и коньяки, различая в них целые букеты невероятных вкусов и оттенков. Вот им может и хочется. А я пью пиво, иногда водку, причем водку паленую, дешевую, но не для того, чтобы насладиться изысканным вкусом напитка. Скорее для того, чтобы смягчить тот хрип, с которым жизнь на каждом выдохе вырывается из меня, растворяясь в большой мутной луже прошлого. Пью я тогда много, до тошноты, до омерзения к самому себе, до разума, превратившегося в кашу, до отупления любой мысли, способной причинить боль. В таком состоянии все возможные букеты вкусов моментально вянут, пожираемые тлей душевных судорог и рвоты. Пиво нагревается в руке, становясь теплым, мочевино-желтым, пузырящимся безнадегой, но все еще способным хотя бы на полчаса вернуть прежнюю веселость и легкость. Пью. Много пью, открывая бутылку за бутылкой, словно ожидая, что все это пиво сейчас махнет из меня наружу, разольется по лодью и затопит к чертям всю мою бесполезную жизнь.

В этом отдающем вонью животного состоянии нахожу глазами... Нет, не жену. Сына. Своего мальчишку, не похожего на меня. Замкнутого, чуждого, глупого, наивного, но все же моего. Лохматый, мокрый, пахнущий теплым пивом зверь, грузно осевший в брюхе, начинает чують в себе жоака. И гордая отцовская ответственность превращается в пошлую дедовщину. Я бью кулаком по столу, пытаюсь насильно воткнуть в эти злые черные глаза всю правду мира, весь опыт, собранный мной за годы жизни. Посадить этого своевольного стервеца, этого малолетнего хама, на поводок собственных реалий, разъевших лицо морщинами, скрючивших дрожжащие пальцы артритом. Вжимаю сына в стену, кричу ему в лицо, захлебываясь слюной, пропитанной осознанием собственной правоты. И вдруг вижу в его мстительно сужающихся зрачках, дрожащих от бессильного гнева, себя: малиновое лицо, покрытое потом, раздувшиеся на дряблой шее вены, черты, искаженные пьяной дикостью, струю липкой слюны в уголке губ, отраженные в плохо скрываемом страхе сына. Становится тошно. Так тошно, так мерзко, что даже помойный зверь в брюхе всхрапывает и приседает на задние лапы, монотонно скуля.

Утром просыпаюсь с головной болью и болью воспоминаний. В душе скребут не кошки, в ней точат свои косы безглазые старухи в черных одеяниях, ядовито ухмыляясь выбеленными чумой черепами. Иду на кухню, минуя ванную, завариваю кофе, наливаю его в старенькую чашку со сколотым краем, видя в черной глади вчерашнее болезненно-бледное лицо сына. Нет, все не правда, я люблю его, он у меня один. Сегодня пойду в магазин и куплю ему новых книжек, которые он собирает с непонятным мне рвением. Сегодня обязательно куплю, как обычно откупаясь каким-нибудь подарком от тех пьяных срывов, бытовых скандалов, от простой нехватки любви к своему ребенку. Так легче. Купить на десятилетие чертов велосипед и скомканным "спасибо, папа" убить застрявшую в голове картинку его лица, изуродованного ужасом. Купить через год бесполезную приставку и больше не думать о том разочаровании, с которым сын смотрел на оступившегося отца. Подарить пару книжек, которые он собирает с

непонятным для меня рвением, и тем самым убедить самого себя, что мое равнодушие – это выдумка жадного до внимания ребенка.

Выхожу из дома, медленно плетусь в сторону офиса, чувствуя, как на слабом позвоночнике плесневело нарастает горб, все сильнее гнуший к земле. А в этом горбу – и испуганные глаза сына, и укоризненный взгляд жены, и далекое море, и коллега-идиот, и шарф из верблюжьей шерсти. Горб дорастает до размера холма, превращается в гору, и хочется лечь лицом в грязный асфальт, позволив ему раздавить то никчемное существо, в которое я превратился. Так и лежать: упираться лбом в холодную шершавость, булькать носом в случайной луже, ощущать, как проходят по телу множество чужих ног, и вспоминать детство. То почти забытое время, когда самым главным в жизни казалась большая мутная вкусная сосулька, с которой я ладонью стирал налипший сор, щедро приправляя взамен красными ворсинками с варежки. А во дворе чем-то неуловимо сладким пахла зима, громко смеялись сытые снегом дети и недовольно ворчали их родители: "выплюнь эту грязь!".

Родители. Мать возится на кухне, по дому плывут набирающие силу запахи еды, я сижу на полу в комнате и с рычанием сталкиваю между собой игрушечные машинки. Мне неинтересно ее медленное медитативное колдовство над кастрюльками, она даже не пытается понять, что рассыпанные по полу карандаши – это настоящая армия, но какой-то частью души я беспрерывно чувствую, что мама рядом. От этого почти неуловимого постоянства обычная квартира в многоэтажке становится тем самым домом, где тепло, уютно и безопасно, как за пазухой у доброго, пузатого, смеющегося ангела.

А потом теплая рука матери на щеке, которая становится для меня доказательством того, что Бога нет. Потому что эта рука, вместе с ее щедрой лаской, со взрослой шершавостью, с запахом мыла и кожи, принадлежит только мне. Чувствовать ее могу я один, и ни один творец, даже самый гениальный, не смог бы придумать ее такой, какой я знаю эту руку сейчас. Есть то, что нельзя замыслить, невозможно предугадать, можно только прожить. Богу можно приписать авторство простого прикосновения, но дело в том, что простых прикосновений не бывает. Каждое несет в себе глубинный смысл, который существует только тогда, когда прикосновение становится настоящим человека. И пока я не чувствую его, оно не существует. А значит, нет никакого автора этого мира, есть только я, мама, ее рука и краски с запахом мыла, которыми мы сами рисуем жизнь.

С отцом сложнее – мы смотрим друг на друга, но находимся очень далеко. Для меня жизнь – это причина, переходящая в процесс. Причина бегать во двор к друзьям и не возвращаться к обеду, задерживаясь с потрепанным мячом возле самодельных футбольных ворот, сделанных из двух консервных банок. Причина ловить в пруду скользких черных головастиков и бездумно, с детской наивной жестокостью, складывать их в нагретый карман шорт, прилипший к влажному, горячему от лета телу. Причина долго собирать желтые осенние листья и легко забывать их на мокрой от дождя скамейке возле дома. Для меня жизнь – причина, а для отца – результат. Действий, слов, ошибок, поставленных целей, слепого выбора, принятых решений, взятой ответственности и пропущенных ударов.

Сейчас, вяло ковыляя на работу, спотыкаясь на ровном месте от тяжести невидимого горба, только сейчас я понимаю своего отца. Только сейчас, пережеванный временем, выброшенный отрыжкой данности на этот асфальт, с которого слизывают грязь низкие черные тучи, я наконец всем своим существом осознаю, что значил его мерзлый взгляд. Мой отец со всей своей тоской, загнанностью, с тяжелым подбородком и редкими бровями, шаблоном круговой безысходности повторился во мне. Как и я, наверное, повторюсь в своем сыне.

Это кажется мне настолько неизбежным и нежеланным, что все мысли начинают отчаянный побег. Пятница! Хватаюсь за день недели как за спасательный круг, цинично брошенный тонущему человеку без рук. Пятница – это перепад температуры души от повседневного труда к выходной скуке. Пятница – это ритуальная встреча с друзьями после работы и пережевыва-

ние черствых ковриг мужских сплетен. Пятница – это заверенный судьбою протокол бытового дежавю. Сегодня вечером я буду упрямо давить из себя веселую беззаботность для друзей и в какой-то момент сам поверю, что жизнь сложилась удачно, что все у меня хорошо, я буду громко гоготать над каждой шуткой. Сегодня вечером жена снова почувствует неподъемный саван своего одиночества, глядя в окно на гуляющие по улице молодые пары, хватая сердцем шквал тишины и ожидая моего возвращения домой. Сегодня вечером после выпитого алкоголя тщательно натягиваемое на жизнь чувство легкости пройдет. Я захлебнусь в саможалости, выплакивая всего себя одному из знакомых, который даже не станет делать вид, что слушает этот бессвязный бред. Но и без этой зашоренной бесполезной пятницы, которая ничего не изменит, не принесет облегчения, не исправит ошибок, не приведет к лучшему, не подарит счастья, я не могу. Сломаюсь, тресну пополам с отвратительным сухим хрустом, упаду ворохом застиранного тряпья и исчезну из мира, словно не было меня.

А когда вернусь домой, то снова не смогу объяснить своей брошенной в тишину и одиночество жене, как важны для меня такие вечера, чтобы чувствовать себя живым, настоящим. Как необходимо мне слышать простые привычные звуки: гул знакомых голосов, взрывы беспечного смеха, звон стаканов и бессмысленную музыку фоном. Как нужно мне видеть эти лица, чувствовать рукопожатия, дружеские похлопывания по плечу, чтобы знать, что все продолжается, что ничего не кончено, и есть еще завтрашний день, а в нем, пусть наивная, но все же надежда.

На работе подходит начальник отдела, кладет передо мной какие-то бумаги и широко улыбается. Читаю их и минуты две не могу произнести ни звука, как лупоглазая рыба, выброшенная на берег. В этих белых прямоугольниках печатным текстом, деловым тоном и бесконечно долгим ожиданием лежит мое повышение. То самое, которое было не за горами. То самое, к которому я так долго шел по мокрому асфальту день за днем. То самое, которое значит море. Море для жены, лучшую жизнь для сына и счастливую семью с рекламных стендов в моем доме. Лист бумаги с замысловатой подписью руководства в углу начинает напоминать мне дверь. Выход на ту сторону жизни, где вечный денежный вопрос уже не болит в голове, не связывает ребра в узел, не хрипит завистливой желчью и бессмысленным раздражением. Рассеяно благодарю начальника, разглядывая эту бумагу, и никак не могу отвести глаза. Дверь. Дверь в лето, дверь к морю, дверь к слонам, дверь в счастье, дверь с табличкой «выход». Значит, вот она такая, эта дверь. Белая, шершавая, с немного загнутым уголком, с блестящей скрепкой сверху. А между мной и этой дверью всего один шаг. Вот он, написан на втором листе. Никак не могу сосредоточиться на словах, дышу глубоко, стараясь не выдать глупой улыбкой штормовое облегчение на душе. Буквы расплзаются по листу, не хотят вставать в предложения, хитро подмигивают, широко улыбаясь. И у каждой буквы почему-то лицо начальника.

Когда буквы наконец перестают упираться, показывает характер смысл. Не уживается в голове, норовит убежать, спрятаться. Насильно вычитываю его из строк документа, а теплая волна воодушевления, почти восторга, вдруг начинает остывать, замерзает, подкожно вьюжить недобрым пониманием. Шаг. Всего один шаг до заветной двери. Но это шаг в пропасть. Командировка. Не просто командировка – многолетняя пропасть. Смотрю в это слово, разбиваю его по слогам, но все равно читаю в нем другое. Ссылка. Годы необходимой работы в забытом Богом поселке. Годы без привычной дороги до офиса, без старенького, но уютного кресла, промятого по форме тела, без пустых звонких пятниц, перенасыщенных лицами друзей, без дешевой забегаловки возле дома с растворимым кофе и жидким борщом, без коллеги-идиота, без сына, без жены.

Когда-то я читал, что свой выбор мы совершаем каждый день. Может и так, но когда течешь по инерции в бытовой рутине, когда шлепаешь босыми ногами по лужам мелочей, когда вечером нужно спать, утром нужно на работу, выбора нет. Точнее, в чем-то он наверняка есть, но мы его не чувствуем. Мы просто живем, делая то, что уже привыкли, то, чторосло в нас между обязанностью и привычкой. А ведь если мы чего-то не чувствуем, то оно уже почти

не существует. Как слоны, эти полумифические звери, которых я никогда не видел. Вот вроде есть они, и можно даже мечтать их увидеть, так же, как можно мечтать о волшебной щуке, выполняющей каждое желание. Значит, нет никакой разницы между щукой и слонами, потому что они одинаково недостижимы. И нет никакого выбора, пока ты не помнишь о нем. А когда вся жизнь встает на весы, раскачивая на ржавых чашечках все самое ценное, что есть у тебя, чем ты еще дорожишь, тогда мы вспоминаем. И выбор становится единственной реальностью.

Так долго я жил и ждал, ждал и жил, месил грязь на улице, грязь в душе, грязь в мыслях. Молча терпел все, был несчастлив, но все же надеялся. А потом пришел начальник, пощекотал широкой улыбкой, подарил чувство радости в бумажном фантике. Я загорелся, согрелся на этом огне, обрел смысл, цель, уже увидел маячащий впереди выход. Оказалось, что ошибся, не разглядел. Не выход там написано. Выбор. И сознание не выдерживает, начинает шипеть, как подгорающая яичница у плохой домохозяйки, мысли разбегаются по самым пыльным закуткам разума, начиная подлобную войну. Ехать? Брать семью и ехать завтра же. Еще немного дотерпеть, годы пролетят незаметно, но потом жизнь станет другой, именно такой, как я хотел. Уже почти решаюсь, но якоря здравого смысла начинают скрипеть по черепу. Нет, не могу я ехать с ними. Нет там ни университетов, ни театров, дома друг от друга за полчаса ходьбы и страшная пустота. Не могу забрать у сына его будущее, не могу посадить жену на цепь своих амбиций. Как им там жить? Нечего делать, некуда идти и нет никаких шансов что-то изменить. Но и без них я не смогу. Зачем мне море, зачем мне мечты, зачем мне слоны, если их не будет рядом? Для чего? Для кого? Зачем было все это, зачем я жил, зачем ходил на работу, зачем скрипел злым молчанием про коллегу-идиота, зачем оставлял одиночеству, опухшему от слез, женщину, которую я люблю? Зачем я живу сейчас, уже готовый уехать? Чего я ждал так долго, к чему стремился, что на самом деле мне нужно? Смотрю в бумагу, не видя букв. Нужно делать выбор, который изменит все. Нужно выбирать жизнь. Нужно. Настало время. И вдруг я понимаю, что уже его сделал.

## Часть 2

Сегодня проснулась раньше, чем обычно. Даже раньше, чем муж. Работа делает его жаворонком – хочешь, не хочешь, но вставай рано. А я убежденная сова. Этакая лупоглазая растрепанная сова, которая не просыпается утром, потому что ей незачем просыпаться. Да и почти уверена я, что эти ярлыки совы и жаворонка – на самом деле разделение на людей, которые знают, зачем живут, и людей, у которых нет ни цели, ни амбиций, ни смысла. Просто потому, что любая самая неисправимая сова вскочит ни свет ни заря, зная, что день готовит ей что-то важное, что-то значимое, что-то, ради чего хочется проснуться еще затемно и начать ждать, лихорадочно бегая от чашки кофе до дверей.

Проснулась резко, словно толкнул в бок неуклюжий сон, а на душе тревожно, сердце колотится так, что голова надувным мячиком подпрыгивает на подушке, звякает в ушах разбитой тарелкой. То ли и правда что-то приснилось, то ли интуиция, шестое кошачье чувство, пытается что-то рассказать да никак не находит слов, только мяукает под грудью ложным ребенком.

Посмотрела на спящего мужа – может, это он по привычке разбросал ноги, словно сражаясь с демоном обиженно надутого одеяла, словно убегая от чего-то мне неизвестного. Нет, спит, свернулся новым мокрым младенцем, спрятался закрытыми глазами от мнимых врагов, обнял подушку, прижал к груди, сравнив лежалый пух с возлюбленной женщиной. А лицо совсем детское, ясное. Днем оно у него то хмурится, складочками морщинок прибавляя себе вес и значимость, то улыбается, делаясь от этого добрым и почему-то старым. А сейчас оно чистое-чистое, рассказывает всю правду, ничего не пряча за гримасами – детское лицо взрослого мужчины, прожившего свою жизнь.

Тревога сонно зевнула, но откуда-то из глубины меня подняла свое черно-белое водянисто-прозрачное лицо печаль. Он спит, а мне его не хватает. И объяснить этого я не умею. Пробовала однажды – подошла к нему, сказала "скучаю я по тебе", а он поднял брови, хмыкнул в нос "мы же рядом". И не решилась я больше ничего сказать. Словно скучать по нему вот так, это что-то стыдное, запретное. Да и сама я не ребенок, все понимаю – мы рядом. Рядом, глядя в телевизор, рядом, помогая сыну с уроками, рядом, читая книгу, рядом, отвернувшись в сны. Рядом и всегда далеко, потому что жизнь садится на плечи, требует и требует, просит и приказывает, и надо, надо все успеть. Только я малолетней дурой скучаю по нему. Хочется быть рядом. Рядом без всего лишнего: без телевизора, книг, снов, работы, кухни. А сказать стыдно, потому что это взвешенное «надо» делает бесправными все другие желания, превращая их в подростковый эгоизм.

Пытаюсь снова уснуть, но сон прячется в подушки, шлепает босыми ногами по полу, смеется из тени, и никак паршивца не поймать. Встаю, иду на кухню и сначала открываю свой старенький ноутбук, а потом уже ставлю чайник. Утренний ритуал. Даже зная, что не буду никому писать, пока муж дома – стыдно, неправильно при нем с другими разговаривать. Несмотря на это, открываю, потому что очень хочется хоть одним глазком глянуть, написал ли кто письмо. Просто убедиться, что я нужна и не забыта.

Друзья в сети – чужие люди, но именно этим и притягивают. С чужими легче, их почти не существует, и можно выдумать кого угодно. Даже когда не хочется придумывать, все равно не остается выбора, потому что чужой человек далеко и узнать его по-настоящему – мало шансов. Чужому можно рассказывать о себе то, что не расскажешь близкому. То, что очень важно для меня, о чем хочется говорить еще и еще, а близкие, вроде, и так все знают. Чужому можно умолчать о своих недостатках, стать тем человеком, каким хочется себя видеть: хоть умной, хоть красивой, хоть одаренной, хоть все разом. Чужой никогда не узнает, что у меня бывают расстройства желудка, что я упала на скользком насте, нелепо раскинув ноги и порвав кол-

готки, что ночью с насморком я иногда храплю. А от близкого не скрыть всех тех бытовых мелочей, которые создают полную и целостную картину человека, убивая идеальность. Чужой еще чужой, я для него пока еще загадка, пока еще интересна. А близкий уже добился и руки, и сердца, и живота, и носа. Вот и вишу трофеем на стене его достижений уже без того первого жадного интереса. Еще жалость. Хоть знаю, что плохо это – хотеть, чтобы тебя жалели, а все же иногда хочется, чтобы пожалели, приласкали, погладили. Чужому можно написать, как все плохо в жизни, а близкий махнет рукой – не преувеличивай. Потому что он видит, что происходит на самом деле. Чужому не нужно уходить на работу, чтобы заработать денег на школу для сына и новые колготки взамен порванных. Чужой всегда рядом, у него больше времени на меня. Чтобы быть с близким, нужно учиться любить человека по-настоящему, таким, какой он есть. А влюбленность в чужого легка, намешано в ней фантазий, оторвана она от жизни, от быта, но тем и притягивает глупых бабочек, летящих на свет монитора и сжигающих свои жизни в сетях интернета. Но даже зная все это, упрямо открываю ноутбук. Потому что не хватает мне этого чужого в близких.

Из спальни зашумело, зазевало, зашлепало пятками по полу. Захлопнула ноутбук, не успев ничего прочесть. На кухню вошел сонный розовоглазый муж в застиранных трусах. Неразборчиво пробурчал: «Что-то ты рано, плохо чувствуешь себя?» Покачала в ответ головой: «Нет, не плохо». А говорить не стала. Ему на работу, некогда мои жалобы на жизнь слушать. Но как же иногда хочется рассказать, что нет, не плохо я себя чувствую. Просто не чувствую. Вот когда я была ребенком, все играла да мечтала, и чувствовала себя то грациозной черной пантерой, то легкой белой птицей, то феей лесов, то русалкой озерной. Стала постарше и почувствовала себя зачарованной принцессой, чью истинную красоту сможет увидеть только один избранный, настоящий среди кукол-людей. Потом накрутилась ярко, вызывающе, надела большие серьги и почувствовала себя бунтарем. Когда первый раз устраивалась на работу, чувствовала себя ужасно взрослой, серьезной и деловой женщиной. Когда замуж выходила, снова вдруг почувствовала себя принцессой, которая нашла того единственного, и он действительно увидел. И плакала от счастья. А теперь не чувствую. Ни женщиной – давно я не интересна мужу с этой стороны, устает он так, что спит в разных углах кровати, словно бы в ее центре выросла бетонная стена. Ни человеком – все кажется, что люди как-то живут, куда-то летят, чем-то интересуются, а у меня четыре стены домашних дел и прогулки проторенными дорогами до магазинов, на обратном пути из которых иду уже как ишак, груженный авоськами с картошкой. Кем тут себя чувствовать? Как? Разве что горшком, в который иногда каши нальют, а иногда объедки бросят. И стоит он на полке, вроде бы не нужен, но выбросить жалко. А горшкам ни плохо, ни хорошо не бывает. И тем сильнее манит злополучный ноутбук, этот липкий иллюзион, где я еще нахожу возможность чувствовать себя хоть кем-то.

Если первое время, когда я поняла, что быт загоняет нашу любовь в какую-то молчаливую мерзлоту, я еще пыталась сражаться за отношения ради любви, то потом однажды поняла, что воюю одна, что нужно это только мне. А принца моего, моего единственного-настоящего увлекают другие дела, и не так ему интересно слушать мой скулеж. Стала чаще молчать, больше терпеть, все ждала, когда сам увидит, поймет. Но иногда набиралось тоски до горла, до сжатых в тонкую линию губ, и тогда я срывалась в слова, приобретая в его глазах образ истерички – опять на ровном месте сорвалась. И не объяснить – когда вся дорога ухабистая, можно и на ровном месте споткнуться. Не сказать, что двое в ответе за плоды своей любви, что не могу я одна, не справлюсь. Не справилась. Сдалась. И выросла стена в постели, и слиплись домашние дела с дорогой в магазин. И наступила тишина. Нечего мне сказать. Возражать нечем. Да, жизнь есть жизнь, с этим не поспоришь. И работает он с утра до вечера ради меня, и после работы сына едет забирать от друзей ради меня, и уезжает в командировки ради меня, и устает смертельно ради меня, все ради меня. А я соглашаюсь: «Да, ты прав, да, понимаю, да, жизнь, да, ради меня». Но одного я не могу понять, хотя никогда не спрошу его об этом – почему в

жизни, построенной из кирпичиков всех его дел, совершенных ради меня, именно на меня, живую, сегодняшнюю, в итоге не остается ни времени, ни сил. Бессмысленные подвиги любви, убивающие то, ради чего он сражается. Война, сжигающая собственное знамя.

Я молчу, и муж молчит. Так вот в молчании завтракает, читает газету, уходит на работу. Раньше в этом ритуале был еще ничего не значащий поцелуй куда попало, но стерся со временем, как стирается из нас все лишнее, ненужное, лишнее смысла и желания, становящееся незаметно неуместным. Есть такое поверье в миру, якобы человек должен быть счастлив. А правда в том, что не должен. Тем, кто признает эту истину, становится легче жить. Их больше не мучают несбыточные амбиции прекрасного и светлого, они уже ничего не ждут, просто смотрят вокруг и соглашаются с этим миром. И пусть в этом знании сквозит привкусом смерти во младенчестве, когда жизнь умирает, не успев даже проклюнуться из семени, все равно. Так легче.

Господи, господи... Господи. Муж не верит в Бога. Точнее иногда верит, иногда нет, и все пытается нащупать Бога разумом, обосновать его существование хотя бы просто для себя. Не понимает он, что Бога нельзя рассудком, можно только сердцем. Как счастье, как печаль, как любовь. И душу так же. Иногда ее можно почувствовать. Когда смотришь телевизор, убираешься, готовишь, она чаще молчит. Но иногда... Есть порог боли, переступая который, человек падает в обморок, чтобы выжить. И есть порог беды, порог горя. Когда изнутри все рвет, живого места не остается в чувствах, тогда в самой середине тебя что-то замыкается, и перестанешь чувствовать вовсе. Можешь продолжать жить, делать привычные вещи, даже не плакать, не выть в пустоту, расцарапывая плечи. Это душа теряет сознание. И если прислушаться, в этот момент можно даже уловить тихий скользящий шорох ее падения. Тогда человек мертвоет. Остается только тело, которое что-то делает, с кем-то разговаривает, даже улыбается. Только в глазах все мертвое. Там больше нет души.

Хотя, о чем это я? Пока в голове крутятся сумбурные разноцветные слова о любви и боли, день накатывает, начинает толкать раздутым животом в лопатки: «Хватит уже самой с собой лясы точить, дел невпроворот». И убраться нужно, и постирать, и в магазин сходить, и погладить, и еще много чего просто необходимо сделать именно сегодня. Потому что кажется, что завтра будет уже поздно. А слова – что с них толку? Они ничего не меняют: ни замоченную вчера кастрюлю не смогут за меня помыть, ни пыль с подоконника стереть. А иногда просыпается какое-то дремучее знание души, и я понимаю, что любые слова человеческие – это перевод. Причем перевод весьма посредственный, слабенький, плохенький. Разросшийся до нелепости перевод одного единственного слова, которым написан весь мир. Слова, которого нет. И это тем более нелепо – слова нет, а дрянной перевод есть.

Полдень. Муж на работе, сын в школе, а у меня – одиночество на кухне. Это только в книжках одиночество красивое: одиночество в сети, одиночество в строгом черном платье возле окна, одиночество под дождем в фейерверке света витрин, одиночество с бокалом вина возле камина. На деле все иначе – одиночество со шваброй. Полдень для меня – это время бытовых задач. Время одиночества, загнанного до пены повседневности. Полдень – это мой возраст. «Сколько Вам, тетенька?» «Мне двенадцать часов дня». Бормотание диктора в телевизоре, дефиле красивой жизни на экране под аккомпанемент включенного пылесоса, полдень – это образ жизни большинства домохозяек, таких же, как я. А может, домохозяйка – это болезнь, вирус, передающийся по наследству, от матери к дочери, паразитирующий на мечтах и надеждах? И у меня всего лишь плохая наследственность – безрадостная жизнь, как одна большая неудача, подписанная моим именем в паспорте? И бабушка такой была, и мама.

Маму вспоминать трудно. Я редко бываю на кладбище. Похоронила ее, посадила цветы и, уходя, забрала кладбище с собой. И могила матери словно бы не в земле, а в моей собственной груди. Так и ношу ее с собой, а когда вспоминаю, вдруг делается так невыносимо больно, и слезы душат, душат, будто убить хотят, будто тащат в этот общий наш гроб. Плачу без оста-

новки и хочу с ней поговорить. Господи, как сильно, как остро мне этого не хватает – просто иметь возможность быть ею услышанной. Пусть молча, пусть без голоса, но так, чтобы слова мои были именно для нее. Но если не вспоминать, то яма под сердцем ноет не так сильно, оставляет место для вдоха. А жить нужно, у меня сын, муж, для них нужно жить. Вот и бегу я от этих воспоминаний как от огня, а по ночам иногда даю себе волю и рыдаю своей ушедшей матери обо всем, пока никто не слышит. И это «никто не слышит» бьет наотмашь по душе, разрывая сердце. Не слышит. Никто. Как не стало ее – больше никто меня не слышит. Она единственной была, кто мог все понять обо мне. И чувство этой тяжелой утраты живо и умрет только вместе со мной. Потому и не хожу я на кладбище, что какая-то важная часть меня навсегда осталась там, упирается в холодную рыхлую землю ладонями и ревет потерянным ребенком, не переставая.

Разнылась душа, разжаловалась. А на что жаловаться? Все так живут, каждый вынашивает свою боль. Любой скажет, что тебе еще повезло – и муж есть, и сын, и дом. А ты посмотри на тех, на этих – им сложнее, горше. Вот только не верю я, что есть боль маленькая и большая. Ребенок, потерявший игрушку, мужчина, потерявший работу – разве несопоставима печаль в их глазах? Боль измеряется не событием ее породившим, а способностью эту боль переживать в себе. И зачастую сломанная игрушка вдруг становится болью большей, чем потерянная работа. Ведь боль – из рода небытия, она как местный наркоз, а смерть – общий. Маленькая смерть собаки, большая смерть человека? Нет, не верится мне в это, все мы разные, но все – равны.

Выглянула в окно, а на улице никого нет. Ни бабушек, грузным осадком жизни прибиваемых к лавочкам возле домов и шкварчащих там мелкими сплетенками, той бутафорией реальности, которой живут люди, чье прошлое никому не интересно, надежд на будущее уже нет, остается только момент ненастоящего. Ни детей, шумных пестрых стай, властителей замурованных детских площадок, хозяев покосившихся горок и качелей, наивных птиц, воробушков, синичек, еще вьющих свои гнезда в красивых мечтах и веселых играх, но уже расправляющих крылья вдаль, туда, где ждут их горькие потери, налипшие болячки взрослой жизни и возможность счастья. Даже случайных прохожих – и тех нет, а кажется, что они всегда маячат по улочкам, будто работа у них такая – ходить туда-сюда и то и дело попадаться на глаза. Сейчас словно вымерло все, никого нет. Есть только желтое небо с перепонками осеннего ветра, есть бесстыдно лысеющие деревья, хмурыми мудрецами глядящие сверху вниз, есть редкие капельки дождя на стекле, а в них – отражение всей вселенной. И света везде так много, и воздуха вокруг перебор. Господи, зачем влюбил ты меня в этот мир? Ну что в нем такого? И не счастлива я, и больно мне, и одиноко, и душит усталость, и пугает безнадежность. А посмотрю на оранжевый листик, сорванный ветром, мечущийся между небом и землей, и защемит в груди от красоты. За что, Господи? Встаешь цветами, пробиваешься лунными прорубями в тучах, держишь, не даешь уйти. Смотрю в эту безлюдную пустоту и спрашиваю: «Это Ты?». «Да» – булькает на кухне включенная вода. «Да» – свистит в форточку ветер. «Да» – качают ветвями слабые городские деревца. «Да, это – Я».

Выхожу на улицу покурить. Не потому, что хотелось, а просто чтобы выйти. Без повода как-то неловко, столько дел дома, стыдно просто так на улицу бегать, а тут повод, Господи прости, – сигаретка. Вышла, закурила, а во дворе ветер беснуется, стучит в окна домоседам, кусает развешанное на балконе белье, храпит лошадью, бьет копытом по асфальту, поднимая в воздух мелкий мусор. Хочется вскочить на эту лошадь и уехать далеко-далеко, нестись по небу, разбрызгивая облака, бесновато смеяться булгаковской Маргаритой и лить с высоты на землю недоваренный суп, выбрасывать в проплывающие леса все эти кастрюльки, мисочки, швабры, совки, сковородки, тряпки, эти опостылевшие надгробия девичьих мечтаний. Да только куда мне лететь, как бросить сына, мужа, родных своих? И ветер, будто в отместку, холодит грудь, бьет по лицу, словно пытаясь затолкнуть горький табачный дым обратно в рот.

Господи, как же все надоело! Посмотрю за окно, посмотрю на плиту, снова за окно. Кто-то сравнивает свою жизнь с театром, кто-то с шахматной партией, а у меня – найди отличия. За окном огромная грязно-розовая стена соседнего дома жрет небо и выплевывает провода. Но каждый вечер окна загораются по-разному, по-новому. То домиком, то птичкой, то решеточкой. Больше решительно ничего не происходит, вот и сличаю расположение сегодняшних лампочек со вчерашними и позавчерашними. Нахожу отличия, ставлю галочки в календарь. И мысли приходят иногда, что каждый такой вечерний светлячок окна уже никогда не повторится. Ни завтра, ни через неделю, ни через сто лет. А сама стою в таком же желтом свете и понимаю, что ведь я тоже не повторюсь. Никогда. Ничего не повторится: ни эта спиленная березка во дворе, ни зеленое мусорное ведро в углу кухни, ни запах котлет из соседней квартиры, ни женщина, цокающая по асфальту каблуками, ни ветер, поднявшийся на улице. И все они – и березка, и запах котлет – это и есть я. Они исчезнут, и меня не станет. А завтра на новый свет будет смотреть уже кто-то другой. И так вдруг становится обидно, что жизнь-то – вот она, прямо тут, а я в ней стала не парусником на пахнущих тиной и ракушками волнах, не пересветом солнца среди больших деревьев, а зеленым ведром с красной ручкой и грязно-розовой стеной дома. Не хочется быть собой. Но ведь судьба в том и есть, что каждый день мы повторяем самих себя, раз за разом.

Нет, жизнь не стоит на месте, все течет, бежит, спешит, меняется. Меняются сезоны года, меняются люди вокруг, меняется даже высота и цвет постоянного, казалось бы, неба. Мир живет, кричит, рождается, умирает, любит и дышит, а посреди этой свистопляски стою я, и у меня мерзнут ноги. Лето ли, зима ли, девочка с портфелем, спешащая в школу, или согбенный старик, философски и обреченно ковыряющий тростью землю по пути в магазин, в чередь больших и маленьких изменений всего света – у меня постоянно мерзнут ноги. Мерзнут ноги и мерзнет душа. В этом трагедия, начало и конец всех земных перемен: мир меняется, а я нет. Так и остаюсь с замерзшими ногами, недомытым полом и тщательно собранной за жизнь болью, которую не лечит время.

Собираю по детской разбросанные вещи сына. Хотя, какая же теперь это детская, уже юношеская, взрослеющая. Вместо железной дороги – гитара с худым грифом, упершаяся лохматой макушкой размочаленных струн в кровать. Другие книги, другие интересы, другие игры, другая жизнь. А для меня по инерции все равно детская. Собираю вещи, нахожу исписанный стихами блокнот. Знаю, что все подростки через одного что-то да напишут, но загляну, бывает, в лицо сына, в какие-то до болезненного птичье-тонкие черты лица, в глаза, бездонными колодцами уходящие в себя, и кажется мне, что нет, не подростковое это, другое. Ведь что такое поэты, в чем их отличие? Наши души – они твердые, плотные, угнездятся в груди, прорастут в руки-ноги, прогреются. И кожа у них шершавая, слоновья, такую кожу греет солнце, питает вода, сушит ветер. Если стукнуть, то, конечно, задрожат тоской, треснут где-то, но только если стукнуть. А если не бить – будут смотреть счастливыми глазами в небо и петь. А их души вырвались из груди, раскинулись широко, охватили каждую травинку, каждое облачко, каждого человека, но стали от этого тонкими, ломкими, натянутыми до разрыва. И скребет их наш привычный мир словно наждачка по бледно-молочной пленочке, и начинают они кровить в слова стихов. Не потому, что мир их хуже – может, даже и лучше нашего, тоньше, громче – а потому, что смотрят они в него совсем другими глазами. С виду они могут казаться сильными, но только казаться, а изнутри они как недоношенный плод – слабые, мягкие, беззащитные, пальцем тронешь – синяк. Потому что кровит, потому что не кожа, а пленочка прозрачная. У меня такой же была, когда носила его в себе.

Все вокруг смотрели – беременная, ну и что? Сколько таких беременных, разве это большое событие? Большое. Только им, смотрящим со стороны, не понять, что растет из меня пуповина, а на другом ее конце зреет новая вселенная. И этой пуповиной связан весь мир, все люди, деревья, галактики. Зачаток этой вселенной просто обязан дозреть, раскрыться, засвер-

кать своими звездами, продолжиться, продлиться вовне. Я тогда ходила безумная, глаза блестя, движения мягкие, осторожные, все заставляла бегать мужа за хурмой, а сама обнимала еще худой живот и представляла, какой он, мой ребенок. Размером с семечко? С коробок? Чувствует он то же, что и я, этот великий рост? Слышит ли отголоски божественного в себе, понимает ли мою любовь, мое неодолимое желание защитить и отдать все? Знает ли, что эта пуповина, растущая из меня в него, связывает будущее и прошлое, растет из моей праматери и уходит далеко-далеко, в моих правнуков, и держит на себе все сущее? И вдруг понимаю – знает, чувствует. Счастье, растущее во мне день за днем вместе с новым телом, выплескивается через краешек слезами на щеках. Считала вечера. Не дни, не ночи, а почему-то именно вечера. И каждый вечер было радостно и страшно. Страшно от понимания, насколько все непрочно и в то же время взаимосвязано. Простудилась, закашляла, а как это аукнется? Ведь вдыхаю я, а выдыхает уже он. И это одно дыхание на двоих не прошло со временем. Даже сейчас, спустя столько лет, он, сам того не зная, вдыхает в меня волю жить дальше.

Прибрала детскую, вернулась на кухню. Зажигаю газ на плите, смотрю в огонь и вспоминаю свечи. Уговорила однажды мужа сходить со мной в церковь. Не скажу, что он был против, но и не рвался туда сильно. Купили длинные желтые свечи у бесформенно замотанной в черное тряпье старушки с невидимым под потеками старости лицом. Подожгла свою свечу о танцующие огарки чужих молитв и поднесла ему. Два фитилька соединились, пламя вспыхнуло сильно, жадно, а я почему-то не смогла убрать руку. Все смотрела, как томно, сладко целуются свечи в наших руках, пока мы стоим чужие, далекие, строгие, соборные. И стыдно было, мне бы о Боге подумать в Его доме, а я все о муже, о том, что свечи в наших руках любят друг друга, заплетаются пламенем, а губы скорбно поджаты и молчат. А он поймал мой взгляд, наклонился и прошептал в ухо: «Однажды придет время, и как сейчас эти свечи, именно твои глаза будут стоять и медленно оплывать светом над моим убитым лицом». И так грустно мне стало, так тревожно, так правдиво-безысходно, что я заплакала. И от слов его, и от этого поцелуя свечей, слишком возвышенного, чтобы когда-то стать нашим. Сейчас все это осталось в прошлом: вместо свечей – газ на плите, вместо пронзительного до души шепота любимого – бытовуха.

Возможно, все было не так, и свечи горели не так долго, и слова были немного другими, но есть у нас, женщин, такая черта – идеализировать мир. Как полевыми цветами свой дом, украшать собственные воспоминания прекрасным максимализмом. Если красота, то божественная, если боль, то невыносимая, если глубина, то бездонная. Так интереснее запоминать жизнь. Так она становится ближе к волшебному. Так выше летит душа. И пусть на самом деле все было не так романтично, не так трепетно, не так поэтично, даже не так уж больно, но возможность одухотворить свою судьбу, переписывая пусть не будущее, но хотя бы прошлое, у нас не отнять. Нам мало этой реальности, потому что женскому сердцу, коснувшемуся любви, становится тесен мир. Начинаем мы в словах, делах, в людях, в событиях жадно искать что-то большее. Что не всегда в них есть. Да, непонимание, да, постоянные насмешки над женской логикой, да, это наша слабость. Но в этом же и наша сила. Кто, если не мы, романтичные наивные дуры, сможет услышать пение деревьев и почувствовать на коже оранжевый поцелуй звезд?

Брожу по квартире, занимаюсь домашними делами и нет-нет, но поглядываю в монитор ноутбука, где мои родные-чужие, мои придуманные друзья, такие же люди, как и я, живущие где-то далеко с кем-то своим, пишут мне письма. И пусть на время, пусть иллюзорно, но отогревают настроение, рисуют на губах улыбку. И юноша младше меня, наивнее, пишет мне красивые письма и рассказывает шутки. А мне от этого становится легко. Пусть все неправильно, но так не хватает этой легкости в сердце, что я покорно соглашаюсь с ним и отстукиваю осыпающимися в забвение руками улыбки в ответ. Легко и стыдно. Стыдно даже не перед мужем за этого юношу, а перед собой. Потому что грызет изнутри горькое понимание, что не нужна ему в его красивой жизни, полной побед и смешливой радости, стареющая, неинтересная, угрюмая домохозяйка вроде меня. И постоянно кажется, что я ему вру, что видит он во мне больше, чем

есть на самом деле, а я отказываюсь разбивать его романтические миражи, потому что жадно нуждаюсь во внимании, потому что неотвратимо страшно остаться одной.

Тишина, в доме моем тишина. Нет, и телевизор жужжит о чем-то своем, далеком и красивом, и пылесос сопит, глотая пыль всех моих дней, и вода в кране булькает с сарказмом над моей жизнью, но все же я чувствую тишину, словно лопатками в нее упираюсь, словно она осязаема. Страшной мрачной тенью живет под всеми звуками, неустанно сторожит, выжидает, чтобы однажды подняться в полный рост, навалиться на меня всем телом и утопить в себе навсегда. Тишина и обои. Обои у нас красивые, расписные, празднично-светлые. Я выбирала их сама – пошла с мужем в магазин, увидела их и влюбилась сразу. Уютные, мягкие, теплые – уже и смотреть было радостно. Тогда влюбилась, а сейчас ненавижу. Ненавижу люто, зло, потому что каждый день, каждый Божий день вижу только их. И вроде обои не виноваты, они остались теми же, но не вызывают больше той прежней радости, только долгий, растянутый на годы приступ слабой тошноты. И так плохо мне от этого невыносимого однообразия, от замкнутого в себя быта, от тишины и обоев, от пылесоса и воды в кране, так дремотно больно, так близко то ли к полной апатии, то ли к истерике, что даже лицо меняется. Становится жестким, старым, тяжелым и больным.

А вечером возвращается муж и смотрит в это самое лицо злыми шальными глазами. Жесткими, тяжелыми и больными. И по этим глазам я понимаю, как мы с ним похожи, что оба загнаны в один и тот же тупик, в один угол, настолько темный, что увидеть в нем друга друга, нащупать руками никак не получается. И хочется прямо тут, возле двери, броситься ему на грудь, уткнуться горячими слезами в холодную дубленку и склеить понимающим теплым молчанием разбитые наши души. Но его злые глаза упираются в мое такое же злое лицо, и вырастает стена, ломать которую у меня не хватает ни сил, ни смелости. А через мгновение этой внутренней в нас боли что-то ломать становится уже поздно, потому что муж разворачивается и уходит в свою комнату. И щелчок дверного замка звучит в хохочущей тишине за спиной как выстрел в голову.

Возвращаюсь на кухню, возвращаюсь в одиночество, в хмарь и муть, в стылость и озноб. Смотрю бессмысленно в окно, но не вижу ничего, и только одна мысль сверлит до боли голову – ведь был шанс, ведь был же, именно сейчас разорвать этот проклятый круг ада, это безысходное зябкое чистилище. Так почему же, почему не смогла? Почему не обняла, не прижалась, не выплакала, не распахнула сердце, не согрела ни его, ни себя? Злых глаз испугалась? А может, просто уже не хочу шить новую жизнь из побитых молью лоскутов настоящего? А может, шанс еще есть? Но руки дрожат, и нервы дрожат, и сердце дрожит, а в нем дрожат боль и обида. В изголовье сумбура вопросов в голове приходит один, самый большой, самый личный, самый слабый и, наверно, самый страшный: а почему я должна искать примирения? Почему не он? Он ведь мужчина, это он должен делать первые шаги, совершать поступки, менять нашу жизнь и бороться за любовь. Он, он, не я, слабая женщина. Да, так правильно. Именно так и должно быть. Мне только послышалось, что тупик в судьбе сыто икнул, а мучительная тишина вдруг захлопала в ладоши, словно ребенок, получивший долгожданную игрушку? Да нет же, как тишина может хлопать, конечно же, послышалось, я же права. И под эти мнимые аплодисменты входная дверь щелкает. Сын вернулся? Нет. Муж ушел. Теперь точно поздно.

Сажусь на табуретку. Даже не сажусь – осыпаюсь мертвыми осенними листьями, обваливаюсь рухлядью, падаю сломанной марионеткой, с которой срезали все нитки, пустой ватной оболочкой без костяка. И ничего не хочу. Совсем ничего. Ни думать, ни смотреть, ни любить, ни страдать. Тишина моя, тишина, ты уже во мне? Да, во мне, спи, теперь ты дома. Обнимаю свое одиночество и пою ему колыбельную. Спи, моя смерть, засыпай, я люблю тебя, мама любит тебя, слышишь? Баю-бай, больше не будет ничего, ни боли, ни радости, засыпай. Кажется, что вся усталость, нажитая годами, села на веки и беспощадно клонит их вниз. Закрывать бы сейчас глаза и не открывать никогда-никогда. И уснуть вместе со святой тишиной в груди. Но снова

хлопает входная дверь и проросшая в меня, сроднившаяся с телом тишина болезненно вздрагивает, для нее каждый звук – страдание, мука. Я морщусь, открываю глаза... И вижу в проеме кухонной двери сына.

Сынок. Мальчик мой, взрослеющее мое дитя, частичка сердца, выдох души. Он же не виноват ни в чем, за что ему все это? Он же смотрит на меня со всей своей плохо спрятанной любовью и не должен видеть этими добрыми глубокими глазами вместо мамы сломанную тишину. Мучительно собираюсь в подобие живого человека, слабо улыбаюсь, чувствуя, как фальшиво, как чужеродно выглядит эта улыбка на каменном лице. Конечно, не поверит. Но поймет, что сейчас просто необходимо сделать вид, что веришь. Стоит, улыбается мне в ответ, а взгляд грустный-грустный. Или в нем просто отражается моя собственная печаль? Нет, не может отражение жить так глубоко. Улыбается ради меня. Так же, как улыбаюсь я ради него. Вот и живем ради друг друга и ради друг друга пытаемся быть счастливыми, несмотря ни на что. И в этом – самое великое отражение мира. Вот только сейчас он улыбается мне, а сам смотрит насквозь, прямо в душу, и кажется, что видит все-все. Потом он пойдет к себе в комнату, и снова будет рисовать свои черные картины, и писать в тетрадь страшные, горькие слова. А я снова не смогу придумать, как это исправить и поселить в нем тихий свет, мягко согревающий изнутри.

Сын хватается из холодильника первую попавшуюся закуску, игнорируя стынущий на плите обед, а я даже не пытаюсь усадить его за стол. Потому что в каждом его движении, жесте, во всем теле так явственно проступает желание исчезнуть, стать невидимым, не быть здесь и сейчас, не вымучивать из себя роль гармонии и семейной идиллии, что любая попытка сесть вместе и вести ничего не значащие разговоры станет мучением, пыткой, издевательством. И над ним, и надо мной. Так и уходит он в свою комнату молча. А я снова почему-то начинаю бояться наступившей тишины, но чувствую в ней совсем иной привкус, привкус тревоги. И за сына, и за мужа, и за себя. За нас всех, как не за отдельных людей, а за что-то целое, связанное в единую сущность волей судьбы. За такого странного, многорукого и трагичного зверя семьи, который стал болен, очень болен, и страдает, и смотрит мутным взглядом, и дышит тяжело, хрипло и болезненно.

Как вылечить этого зверя, чем кормить, где погладить? Ведь умрет он, и что останется? Три несчастных человека с исковерканными жизнями. Хочется курить. Потому что сигаретный дым лучше всего сейчас отражает боль в душе. Тем, что горек он, бесплотен, но сущ. Открываю форточку, переваливаюсь через подоконник, закуриваю. Где ты, Господи? Почему молчишь сейчас, когда так нужен? Смотришь на меня, земную, дурную, и улыбаешься, зная то, чего не знаю я? Молчишь? Или отвечаешь, но уши мои забиты личным горем, не слышат тихий голос твой? Во мне ли ты, Господи, со мной ли? Бестолковая молитва вплетается в сигаретный дым, стелется по двору, растворяется, исчезает. И странно думать, что кто-то незнакомый мне, кто-то такой же уставший или беззаботно счастливый вдруг вдохнет ее, размешанную в воздухе, и сам об этом не узнает, но мы соединимся в этот миг, чтобы потом снова распасться. И так сплетается, соединяется весь мир, каждый человек в нем с другими людьми, с холодным страшным космосом малозвездного городского неба.

Возвращается муж. Уходил жестким и острым, а пришел сутулым и скомканным. Не хочу ничего говорить, убиваю все слова в пересохшем рту, удавкой сжатых губ душу. И знать ничего не хочу: ни почему ушел, ни где был, ни что будет дальше. Потому что кажется, что знаю ответ, знаю и не желаю его слышать. Тяну, тяну изо всех сил это подобие жизни, вытягиваю его из нас, потерянных и одиноких, и креплю собственной болью к мучительному вечеру. Разогреваю остывшую еду, смотрю на синий огонек газовой горелки и наворачиваются слезы. «Однажды придет время, и как сейчас эти свечи, именно твои глаза будут стоять и медленно оплывать светом над моим убитым лицом». Сбылись его слова, сбылись. И стою я годами над его убитым бытом лицом, изо дня в день стою. И оплываю, оплываю уже не светом, не осталось во

мне света, оплываю тоской, мукой, тишиной. Мы оба умерли. И остались от нас только гроб, забитый бумагами из офиса, да скорбное бледное изваяние над ним.

Он ест, а я стою рядом. И что-то внутри не дает уйти. Какая-то невыносимая жажда простого человеческого тепла, близости, жизни. Ни слова ему не скажу, ни одного вопроса не задам. Но дни, недели, месяцы, проводимые в неласковом бесприютном карцере замкнутых домашних дел, научили ценить каждый жалкий огрызок этой пародии на общение, на семью, на счастье. Просто рядом побыть – и уже не так тихо и холодно в сердце. Когда больше не о чем говорить, остаются звуки. Звук постукивающей о тарелку вилки, шершавый звук ерзающего по скатерти рукава, очень значимый звук дыхания (когда-то? до сих пор?) любимого человека. Звуки дома. И понимание, что есть у тебя дом, что не пуст он и жив. Какими важными становятся эти мелочи, когда судьба отнимает у нас что-то очень большое, что-то главное и необходимое. Вот только все чаще и чаще слышу я на дне всех этих звуков дыхание тишины.

Муж открывает холодильник и достает пиво. А я смотрю, как в этой холодной темной бутылке умирают все мои надежды. Надежда поговорить, понять друг друга, исправить нарощенное в нас отчуждение, вылечить семью, все надежды сегодняшнего дня гибнут, чтобы воскреснуть к завтрашнему утру и снова погибнуть с наступлением ночи. Больше меня ничего не держит рядом с ним, наоборот, теперь мне хочется уйти и не возвращаться. Иду в спальню, ложусь в кровать. Что такое жизнь? Ведь раньше, в юности, казалось, что жизнь – это что-то большое и великое, полное открытий и переживаний. Но потом вдруг поняла, что сколько ни глазей вокруг, а жизнь всегда будет только тем, чем ты сама решишь и сможешь ее сделать. Я свою сделала вечным ожиданием. Ожиданием сына из школы, мужа с работы, ожиданием завтра, в котором все будет лучше и что-то обязательно случится, ожиданием ночи, когда можно все забыть и уснуть. И вот они – итоги моего выбора: я уже не молода, вряд ли кому-то сильно нужна, усталость уже не проходит, живет в руках, ноет в коленях, а я привыкла. Менять что-то страшно, и жить так дальше – трудно. А за окном моим давно ночь. И так, обнимая эту ночную тоску, я сворачиваюсь в кулек глупых мыслей о жизни и засыпаю.

Утром просыпаюсь поздно, мои мужчины уже разбежались по делам. А меня ждет еще один день домашних забот и хлопот, ничем не отличающийся от сотен точно таких же дней. Накидываю застиранное платье, которое не жалко портить, прячу ноги в теплых потрепанных тапочках, потягиваюсь и слышу звонок в дверь. Пришла подруга. Глаза растрепанные и сытые, зрачок беспрерывно ползает недобитым тараканом по слизи ехидства. Сказала, что вчера видела мужа в кафе с молодой женщиной. Сказала, а у меня сразу кольнуло в левом боку. Даже не потому, что с другой, а потому, что она видела. Да, с другой, но это и понятно – я старая, некрасивая, не женщина, а кухарка. Стала такой. Но боль моя из этих беглых глаз потечет сплетнями, обрстет пошлостью, станет хихиканьем за спиной. Господи, как не хочется прятать краснеющее лицо от равнодушных людей, да только некуда уже бежать.

Нахожу тысячу предлогов своей занятости, выпроваживаю подругу, но мало в этом смысла. Все уже произошло. И другая женщина у мужа, и сытая новой сплетней подруга, и глупые предлоги, в которые не поверила ни она, ни я. Темно на душе. Беспросветно и тихо. Включаю компьютер, бегу от реальности, от своей жизни и своего выбора в ней. А из экрана мигает лукавым зеленым глазом письмо от мальчишки, который все еще верит в жизнь и иногда заставляет поверить в нее и меня. Читаю это письмо, эти слова, а они змеистые и сладкие. Чешутся буквами, трутся шершавым телом о кожу души, бередают, будят, обещают, зовут. «Заберу», «уедем», «люблю», «счастливы». И каждое слово – надежда на то, что жизнь все еще возможна. Стоит лишь согласиться, и буду я Маргаритой летать по небу, Афродитой плескаться в морской пене, а не домашней Клавой намывать посуду. «Украду», «увезу», «люблю», «люблю». Когда муж мне говорил, что любит меня? Уже и не помню. И только сейчас я понимаю, как мне этого не хватало. Простых слов о том, что я любима, желанна, хоть кому-то нужна. "Ты еще нигде не была в полной мере, я покажу тебе мир". Да, в полной мере я еще нигде не

была. В полной мере меня еще нет. А сейчас, читая это письмо, я становлюсь живой. Словно бы до этих слов ненастоящая я все спала в ненастоящем мире, потом вдруг проснулась, а мир – вот он, яркий, красивый, и счастье в нем, и любовь, стоит лишь протянуть руку. Сейчас я-настоящая только начинаюсь. Да, понимаю, что любовь нуждается не в словах, а в проявлениях. Но когда рассудок теряет веру в жизнь, именно слова становятся последним спасательным кругом. И начинаешь верить в них так, как никогда не верила в дела. Потому что слова, которые человек по-настоящему услышал, они уже не снаружи, они внутри. А когда свет поет изнутри – это больно до восторга. Жизнь нужно чувствовать кожей. Даже не кожей, а тонкой прозрачной кожицей апельсина, с которого сняли кожуру. И только тогда жизнь – это жизнь.

После этих слов все во мне заворачивается в ураган, в смерч, и я просыпаюсь. Стою, молчу и смотрю вокруг, но вижу все словно в первый раз. Смотрю на маленькую квартирку, на соседний дом в окне, на вещи мужа, сына, свои, на себя смотрю – женщину в застиранном платье и драных тапках, переживающую день за днем одну и ту же молчаливую драму, такую маленькую и незначительную на фоне огромного мира и такую остро болящую в сердце. А мир ведь правда огромный. И неужели то, что я вижу – это все? Все, что было и будет. Неужели все, и больше нет ничего? Любовь была. Но это все? Семью я создала. Это все? Проживу всю жизнь тихо и несчастно, а потом лягу рядом с матерью. И все? Неужели все? Но ведь что-то можно изменить. Закрываю глаза, впиваюсь в саму себя жадным поиском, ищу, щупаю, нахожу... И понимаю, что все уже изменилось. Вот в эту самую секунду изменилось раз и навсегда. Я сделала свой выбор. И именно он рисует сейчас на моем лице улыбку, в которой нет ни тени той застарелой усталости, в которой я так долго спала.

## Часть 3

У каждого человека свое утро. Вот кажется, что оно одно на всех, вроде и тот же город, и та же погода, и то же время, но все же у каждого утро свое, уникальное. Сонный мужчина с ненавистью смотрит на цифру 6 или 7, ухмыляющаяся из беспристрастного будильника, и в нежелающий просыпаться разум бьет волна ненависти к работе. А молодая девушка в нелепой пижамке с котами отчаянно хватается за хвосты удирающих со всех ног снов, чтобы потом разобрать их тайный смысл, и спросонья ей еще не ясно, то ли сны были пушистыми, то ли ожили пижамные коты. В одном городе можно найти сотни разных граней одного утра, от надежды и беспричинной радости восхода, до лютой ненависти и безысходности. А у меня утра нет. Нет, оно есть, я тоже просыпаюсь, день по неизбежному земному расписанию жизни с чего-то да начинается, просто я ничего не запоминаю. Раньше помнил, а потом перестал. И время после сна смазывается, оставаясь неясным пятном. Вроде бы было утро, но о чем оно было – не вспомнить. Только одно я помню и точно понимаю: что и утром, и днем, и вечером в моей голове царит бардак, который мне не объяснить даже себе, не то что другим. Но бардак не разбросанных вещей-мыслей, не пыльных идей, нет, бардак совсем иного рода. Словно бы я стою у большого муравейника, смотрю в хаотичное движение насекомых, понимая, что хаотично оно только для меня, но на самом деле эта жизнь подчинена какому-то неведомому мне, но строгому закону. Проблема только одна, муравейник можно забыть и обойти, а от собственной головы никуда не денешься.

И каждый день я беру лист бумаги, сажусь и вывожу на нем траектории движения этих мыслей-муравьев, пытаюсь связать их в лица, в судьбы, в жизни людей, постигая тем самым самого себя. Пишу стихи. Как умею. Желание писать пришло спонтанно, неожиданно. Не потому, что внутри назрело что-то великое, требующее выхода, и не потому, что слова пришли сами Божественным откровением, и даже не потому, что, читая запоем чужие книги, я заразился красотой переплетения строф, проникся глубиной смыслов, заболел словесностью жизни, в которой отражается человек таким, какой он есть. Все было проще и обыденней. В детстве была у ребятни нашего двора такая игра: брали мы коробочки, складывали в них свои вещи, будь то пластиковый солдатик или сорванные листья с деревьев, названия которых я никогда не знал. А потом мы эти коробочки закапывали, чтобы кто-то из друзей их нашел. Подобие пиратских кладов и карт, неумело нарисованных цветными карандашами на мятых от усердия бумажках. А однажды мама сильно заболела. Она лежала в кровати бледная, серая, слабая, какая-то отталкивающе лохматая и чужая. В комнате пахло лекарствами и чем-то еще, что я не хотел обозначать словами. Чем-то плохим, злым, страшным. Этот запах отголоском беды еще долго преследовал меня во снах, он чудился мне в каждом месте, которое так или иначе пугало меня: и в больницах, и на заброшенном заводе, куда мы с мальчишками лазили тайком, и на кладбище. Я смотрел на маму и думал: «А если вот именно сейчас она уйдет из моей жизни, то что останется? Останусь ли я? А папа?» Тогда я взял коробочку, сложил туда ее фотографию, свои карандаши, папину бритву и закопал во дворе. Чтобы нас нашли когда-нибудь. Чтобы не забыли. Чтобы знали, что мы – были. А когда стал старше, открыл книгу, прочел о людях, которых давно уже нет на земле, и вдруг вспомнил ту закопанную коробочку. И понял, что ее могут не найти, а слова – вот они, чернеют пятнами вечной памяти на книжных листах. Именно слова способны сохранить всех, кого я знал, кого я любил, кто был в моей жизни. Я начал писать, складывая в коробочку предложений лица людей, их дела, чувства, судьбы. Только тогда тяжелый запах из маминой комнаты, преследующий меня, сменился приятным запахом типографий, и мне стало легче. Я научился не терять.

Решил написать их всех: и маму, и папу, и бабушку, и себя, и девочку с огромным белым бантом, которая ходила в мой садик, а я любил ее за то, что у нее была игрушка, которой не

было у меня, и ребят со двора, и одноклассников, и тех, кто был мне дорог, и тех, с кем я дрался. А как написать? Прочел где-то, что слово – это форма. А форма чего? Чем ее заполнить? Глубоким истинным смыслом? Но мне неведомы эти смыслы. Тогда я не писал, я вымучивал из себя слова, но были они какими-то плоскими, однобокими, невнятными, пустыми. Потом сидел я как-то с другом из класса, а друг дурной был, пьяный, мятый изнутри – брат у него погиб, в аварию попал. И этот друг, не читавший книг, ругавшийся матом с непостижимой мне легкостью, презирающий духовный мир, зато ценящий баб и пиво, вдруг заговорил стихами. То есть сам не заметил этого, а я услышал. Тогда я понял, что слово – это форма чувства. Той любви, которая живет в нас, не нуждаясь в опоре. Той самой любви, у которой тысячи лиц. А в лице плачущего друга, скорбящего о своей потере, лишь проступило одно из них. И искать это переживание нужно не в ответном чувстве к себе, потому что важно, на самом деле, не "любят ли тебя", а "любишь ли ты". Потому что если ты находишь в самом себе любовь, не требующую ничего: ни счастья, ни ответа, ни жертв, ни побед, самодостаточную, молчаливую, огромную, созидающую весь мир необъятным лицом своей возлюбленной, то и слова ты найдешь. Или они найдут тебя. Любовь эта в основе любого творчества, а без нее не существует ни его, ни нас. Наверное, в тот день я открыл для себя личный образ Бога.

Вот так опять – ни с того, ни с сего ушел в раздумья. Видимо, поэтому и стирается из памяти мое утро. Потому что пока тело совершает привычные, нужные, кем-то заведенные и уже заранее продуманные действия, мой взгляд обращен в самого себя. Я не умею стоять, смотреть вокруг и просто впитывать мир, любясь им. Нет, я живу внутри себя. Я не смотрю, я собираю все окружающее глазами, закапываю его глубоко в душу и там уже привычным взглядом вглубь проживаю. Наверное, это неправильно. Наверное, нужно учиться быть другим, тянуться вовне, жить мгновением. Наверное, меня уже не исправить. Но кто знает, кто знает точно и наверняка, как оно – правильно? Вот и сейчас: снова встал, привычно помылся, оделся и, не завтракая, пошел по привычному же маршруту. Снова ничего не заметил, ничего не прожил, но сохранил в себе каждую мельчайшую деталь этого пути, умножив муравейник мыслей на пару новых ходов.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.